

П. Д.
БОБОРЫКИН



Избранное



Петр Дмитриевич Боборыкин

«Монрепо»

«Прямо против моих окон в той вилле, где я живу на водах, через полотно железной дороги вижу я сдавленный между двумя пансионами домик в швейцарском вкусе. Под крышей, из полинялых красноватых букв, выходит: „Pavilion Monrepos“...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0010
III.....	.0019

Петр Дмитриевич Боборыкин
«Монрепо»
(Дума о Салтыкове)

Прямо против моих окон в той вилле, где я живу на водах, через полотно железной дороги вижу я сдавленный между двумя пансионатами домик в швейцарском вкусе. Под крышей, из полинялых красноватых букв, выходит: «Pavilion Monrepos».

В первый день я случайно разобрал эту надпись, и она не вызвала во мне ничего. Но вчера я повторил раза два вслух, стоя у окна: «Mon repos, mon repos» («Мой приют, мой приют» (фр.)), – и целая вереница образов и воспоминаний всплыла в моей голове вокруг одной фигуры – автора «Убежища Монрепо»...

О смерти Салтыкова узнал я в переездах по крайкому некрологу какой-то парижской газеты, где, разумеется, среди всяких сочувственных фраз стоял и такой вздор, что с Салтыковым в лицее учился в одно время Федор Достоевский, как сын «знатных» родителей. Та же газета упомянула о книжке, составленной, во французском переводе, из его заграничных очерков, под заглавием: «Paris et Berlin». По этому поводу говорилось о его ве-

ликой любви к Франции и французам.

Имя Салтыкова в Париже не было, однако, и наполовину известно, как имена Достоевского, Толстого и Тургенева; да и сам он не особенно искал этой известности.

В начале 80-х годов случай поместил нас с ним в одном гарни [1], позади церкви Мадлен. Он там останавливался несколько раз.

Было это в конце русского августа. Я вернулся с морских купаний из Нормандии, и хозяйка гарни сейчас же мне доложила, что через несколько дней у нее поместится «Toute la famille du general Saltikoff» [2]. Этим «генералом» оказался Михаил Евграфович, уже больной, с раскатистым кашлем и одышкой, но еще на вид довольно бодрый.

Я жил на самом верху и на другой день по приезде русского семейства слышал на лестнице знакомый кашель. Салтыков поднялся ко мне. Я сошел вниз и не допустил его утомлять себя подъемом на шестой этаж.

Первое, чем Михаил Евграфович начал тогда, были горькие жалобы на то, как он тоскует в Париже.

– Мне здесь ровно нечего делать! – нервно

повторял он, глядя пристально страдающими глазами. – Работать я не могу, таскаться по театрам – духота в них невыносимая, Палата закрыта, знакомства с французами я не вожу...

И, в самом деле, он очень мало интересовался личностями парижских писателей; у него мне не случилось видеть ни одного француза из ученого, литературного или политического мира. А как он относился к вопросу о переводе своих произведений на французский язык, может показать отрывок из разговора, бывшего в тот же его приезд и в той же гостиной его меблированной квартиры.

В числе корреспондентов проживал в Париже довольно уже давно один петербуржец, дававший там и уроки русского языка. У него был ученик-француз, богатый светский человек, езжавший в Москву как турист. Он перевел под руководством своего учителя «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет; а когда узнал, что автор в Париже, доставил ему экземпляр и пожелал выразить ему лично глубокое сочувствие его таланту.

Надо было видеть Михаила Евграфовича! –

до какой степени это подношение растревожило его.

– Помилуйте, – говорил он с беспощадною суровостью к самому себе, – какой интерес могу я представлять для французской публики?.. Я – *писатель семнадцатого века*, на их аршин. То, против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьеза. Надо это понять!..

Спорить с ним было трудновато, и он никак не хотел сойти с того тезиса, что он писатель «семнадцатого века». А между тем разве он по-своему не был прав? Разве после представления «Грозы» Островского самые авторитетные парижские критики не сказали без всякой иронии, что нравы эти напоминают им XIV век во Франции; вы видите: даже «*четырнадцатый*», а не «*семнадцатый*». Перенесите на сцену «Господ Головлевых» (что и было сделано в Москве), и они нашли бы точно то же. И, быть может, у одного Салтыкова достало мужества так резко определить *содержание своей сатиры* для французов, а *форма* его слишком своеобразна, чтобы получить в переводе обаяние чисто эстетического харак-

тера, чего не вышло ведь до него ни с Толстым, ни с Тургеневым, которые взяли больше содержанием и общим колоритом.

Любил ли он французскую литературу? Не знаю. Может быть, некоторые вещи Виктора Гюго и Жорж Занд, по старой памяти.

Но вот что я прекрасно помню. Раз у Некрасова (это было в начале 70-х годов) за обедом речь зашла о парижских писателях, романистах и драматургах. Я перед тем прожил несколько зим во Франции, с 1865 года по год войны.

Из тогдашних сценических писателей я ставил выше других Ож'е и Дюма-сына, который *по тому времени*, был, без сомнения, новатор если не в художественном смысле, то как проводитель разных *идей* и нравственных *идеалов*, казавшихся и публике 60-х годов и критике очень смелыми: стоит мне только припомнить «Идеи госпожи Обрэ». За них и автор, и директор театра «Жимназ», и актриса Деляпорт, создавшая роль Жаннины – девицы с «изъяном», на которой почтенная мать решается наконец женить своего сына, – дрожали на первом представлении. По своим эмансипационным идеям Дюма-сын должен

был бы скорее нравиться Салтыкову. Но Михаил Евграфович, помолчав довольно долго, разразился, к десерту, огульным неодобрением парижских знаменитостей.

– Один у них есть настоящий талант, – решил он, – это – Флобер; да и тот большой, говорят, хлыщ!

Это было до его поездки за границу. Личное знакомство через Тургенева с Флобером и другими натура – листами не смягчило его приговоров. Флобер ему не очень понравился. А как он смотрел на всю школу, вы сейчас увидите из маленькой сценки, разыгравшейся у меня в кабинете, на Песках, в зиму 1876–1877 года.

В отсутствие Михаила Евграфовича были напечатаны в «Отечественных записках» три лекции, прочитанные мною в пользу женских курсов в Клубе художников, «О реальном романе во Франции».

Первая фраза, произнесенная Михаилом Евграфовичем, когда он вошел в кабинет, была:

– Какой это вы нашли у них реализм?!

Я, конечно, не стал спорить, а дал ему из-

лить свой протест...

В моих лекциях я занимался больше других именно Флобером и входившим в славу Золя, который выпустил тогда уже первые романы своей серии. И его реализма не признавал суровый сатирик... Не пощадил он и Флобера, на этот раз не захотел его выделить как единственного человека «с настоящим талантом». О Доде, Гонкурах и говорить нечего. Их он растер в порошок...

Привожу эти подлинные документы, ярко сохранившиеся в моей памяти, не затем, конечно, чтобы обличать эстетические вкусы покойного, а чтобы показать, до какой степени скороспешно объявляют его теперь французы исконным другом Франции и всего французского.

В Париже ему мало что нравилось: иначе бы он не тосковал там до такой степени. Самое привлекательное, что есть для приезжего иностранца, это – парижские театры. И к искусству французских актеров, даже и в «Comedie Franchise», относился он очень строго:

– Они, – говаривал он мне не раз, – умеют

только хорошо *произносить* стихи и прозу, да и то в комедии; в трагедии я их *пения* слышать не могу! Вся их игра – в дикции. А жесты у них – рутинные, мимика лица – казенная и бедная.

И это, в общем, довольно верно. Его требования были – русские. Требования человека, воспитанного на игре Щепкина, Мартынова, Садовского, Мочалова, т.е. есть на игре более нервной и выразительной, полной внутреннего юмора и комизма или богатой трагическими жестами и экспрессиями лица.

В тот приезд в Париж, с которого я начал, Салтыков пожелал пойти в театр на феерию «La Viche au bois» [3]. Мы смотрели ее втроем с общим добрым знакомым, князем У[русовым]. Выставка женского тела в разных эволюциях и группах давала ему повод ядовито и забавно острить в антрактах над нравственным уровнем парижских сцен. В театре он сильно раскашлялся и после четвертого акта запросился домой, обвязав себе шею большим фуляром, хотя температура была тропическая.

Вышли мы на бульвар, в этом месте, про-

тив театра «Porte St. Martin», высоко поднятый над мостовой, и нас охватила живая картина ночного Парижа.

– Вот это здесь лучше всего! – вскричал Салтыков, и его глаза сразу повеселели.

Он постоял с нами, любуясь бульварной толпой, где преобладал простой люд: блузники, торговки апельсинами, гамены[4], проходившие домой работницы.

Кажется, только это ему безусловно и нравилось в Париже.

Но, наверно, было такое время, когда он чувствовал себя ближе к Франции, в лице людей 30-х и 40-х годов, мечтавших о социальных преобразованиях, об эльдорадо на земле.

И прямо в конце Николаевской эпохи от запретных книжек Сен-Симона, Фурье, Луи-Блана, Виктора Консидерана, Кабе – очутиться в служебной ссылке и две трети своей жизни провести в самой трясине губернских нравов до- и пореформенной родины!

Казалось бы, что после несносной жизни в убийственном климате севернорусских губернских городов, а потом Петербурга (от него он и скончался еще совсем не старым че-

ловеком), Салтыков должен был бы стремиться давно на благодатный юг, в эту Францию, к народу, среди которого ему все-таки легче дышалось, – о чем он заявлял иногда в печати, – устроить там свое «Монрепо» где-нибудь на Ривьере, в окрестностях Ниццы, в Канне, где солнце ласкает вас круглый год, где население красиво и весело, где жизнерадостность проникала бы и в его горькую, хронически раздражаемую душу! Он и жил в Ницце по приказанию врачей, но скучал в ней; его всегда и отовсюду тянуло домой, и никуда, как все в тот же Петербург, к самому нездоровому образу жизни, к писательскому кабинету, к спертому воздуху, к своим чисто русским привычкам, к вечерней партии в какую-нибудь коммерческую игру, за которой он ужасно волновался и только усиливал постоянное недомоганье, портил себе окончательно и нервы, и легкие, и кровеносную систему...

Раз в Баден-Бадене мы разговорились о его заграничных поездках с покойным П. В. Анненковым, его старшим сверстником и – в последние годы – приятелем. На его глазах проходила жизнь Салтыкова – еще слабо-

го, но выздоравливающего, в этом приятнейшем из немецких курортов, где ему оказано было – все это помнят – публичное чествование как писателю от покойного канцлера кн. Горчакова.

И там ему было не по себе...

– Михаил Евграфович, – говорил мне Анненков, – любит Петербург, хоть и клянет его на разные лады... Ему без его петербургских привычек и обстановки и жизнь не в жизнь!..

Вероятно, так оно и было. Когда у него в последние годы открылась полная возможность выбрать себе «Монрепо» в самом благословенном уголке Западной Европы или даже в России, где-нибудь на Южном берегу Крыма, на побережьях Кавказа, усадьба его очутилась на болотном севере, неподалеку все от того же Петербурга, этого «города ядовитых признательностей», как назвал его Салтыков еще в одном из первых своих «Губернских очерков».

Да, «город ядовитых признательностей»! И он вкушал добровольно этот яд, не мог стряхнуть с себя ностальгии по Петербургу. Мечтая иногда о «Монрепо», настоящем, при-

вольном, с солнцем и тенью роскошных деревьев, с благоуханием и рокотом нежной морской волны, он тайно любил гнилой и пасмурный Петербург, любил потому главное всего, что *там ему писалось*.

Это не мое досужее предположение. Я слышал от самого Михаила Евграфовича, и не один раз, такие слова:

– Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу.

Мечтал он и о переселении в Москву... Там прошло его детство. Там жил его школьный товарищ С. А. Юрьев... Но не пощадивший его долгий и мучительный недуг подкрался в последний раз, и Москва не увидела в своих стенах заката писательской жизни русского сатирика. Раньше сошел в могилу и Юрьев, очень быстро, еще юный духом, полный увлечений идеями прекрасного, любви к поэзии, к театру, приглашенный накануне смерти руководить новым журналом.

Он нашел вечное «Монрепо» еще скорее
своего московского школьного товарища.

Случилось так, что в мои недавние переезды тотчас после кончины Салтыкова я совсем не читал русских газет, не видал полемики, поднявшейся из-за него, не удержал в голове никаких общих мест и ходячих формул «преданности и уважения» личности и таланту покойного русского *Свифта* и *Поля-Луи Курье*.

Эти два имени неспроста подвернулись под перо. Не стану сравнивать Салтыкова ни с одним из них, определять: выше ли он их по таланту и значению в истории нравственных идеалов своей родины как творец и художник слова. Но они в двух передовых нациях Европы считаются самыми крупными выразителями сатирического гения. Оба страдали от людской глупости, тщеславия, пошлых инстинктов, от мирской неправды, от мелкоты и грязи. И британский «декан», и французский деревенский буржуа были, каждый в свою меру, несчастны, как люди, не умевшие мириться с действительностью.

Но Салтыков был самым несчастным из

европейских сатириков на протяжении более ста лет со дня рождения Свифта и по день смерти русского писателя.

И у Свифта и у Поля-Луи Курье имелись в запасе свойства национального темперамента, позволяющие им легче переносить зрелище мирской глупости, пошлости и порочности. Свифт мог даже полусумасшедшим объективно относиться и к самому себе: припомните его сравнение своей головы с высыхающим деревом во время прогулки... Кровь и нервы галла не допускали и Поля-Луи Курье до той горечи и надсады, какими исходил Салтыков!..

Судьбе угодно было наделить его темпераментом, всего чутче отзывавшимся на темные стороны жизни. Мне говаривали и его литературные сверстники, помнившие его молодым – тотчас по выходе из лицея, когда он уже бывал в писательских кружках, что и в то время он проявлял те же признаки человека, не умеющего примирительно смотреть на людей, на личную долю и общественную жизнь. Детство и отрочество прошли, судя по его «Пошехонской старине», среди особенно

бездушных нравов. На долю его выпало нечто гораздо более способное воспитать негодующего сатирика, чем то, что представлял собою общий уровень дворянской среды николаевского времени. И позади – как начало всякой думы и основа всякого взгляда на родину – та эпоха, постылая, рабовладельческая, которая даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, вызвала побег на Запад и клятву: не мириться с крепостным строем тогдашней России!

Кому же, как не Салтыкову, нужнее было к старости «Убежище Монрепо», выражаясь его языком? Но оно ему не давалось. Русская жизнь, как разъедающий лишай, грызла его, не пускала никуда, сделала равнодушным к приволью и благодати других стран. И когда к моральной желчи, душившей его, присоединились еще несносные, тягучие физические недуги, сатирик не выдерживал и в лирических жалобах изливался перед публикою, за что многие осуждали его, находили, что он не имеет права позволять себе такие сетования Иова!..

Но «Монрепо» все-таки было неизбежно – последнее, верное и безобидное убежище,

против которого бессильна и самая злая сати-
ра!

Эмс

Примечания

1

garni (фр.) – меблированные комнаты

[^^^]

Семейство генерала Салтыкова (фр.)

[^^^]

«Лесная лань» (фр.)

[^^^]

4

gamin (фр.) – мальчишки

[^^^]